

Феномен Центральной Европы и русский культурный элемент в чешской среде (Несколько заметок по поводу метаморфоз чешской рецепции)

Иво Поспишил

I. Центральная Европа, славянский мир и Россия

В географическом смысле территория Центральной Европы – это часть современной Германии (по крайней мере Саксонии и Баварии) части Польши, вся Австрия, Чехия, Моравия, чешская и польская Силезия, части Украины и Румынии; Центральная Европа зачастую отождествляется с территорией Австро-Венгерской монархии. Таким образом, географическая точка зрения постепенно переходит в административно-политическую или же геополитическую. С этим связана как этно-лингвистическая, так и культурологическая точка зрения, выраженная в 1915 г. известной книгой сенатора немецкого Рейхстага Ф. Науманна, который в разгар Первой мировой войны анализировал этот феномен в смысле немецкого языкового, культурного, идеологического и политического пространства в связи с военной ситуацией в Центральных державах, Германии и Австро-Венгрии. Время от времени подчеркивается значение этого понятия в связи с политическими изменениями, произошедшими в последнее время после падения железного занавеса и коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе. Геополитическим содержанием этого понятия является иногда образование

какой-то переходной зоны между Западной и Восточной Европой, в более узком смысле (если это понятие, хотя бы частично, отождествляется с Австро-Венгрией) транзитивное пространство между Германией и Россией.

Хотя зачастую утверждается, что феномен Центральной Европы «родился» после наполеоновских войн в связи с новым разделением Европы и что его использовали на протяжении всего 19 века, настоящая конъюнктура понятия связана скорее с XX веком. По концепции Д. Дюришина, на территории Центральной (Средней) Европы образовался так называемый средневропейский центризм, интегрирующий славянский (точнее западнославянский, частично восточнославянский и южнославянский) компоненты, германский (немецкий или же австрийский), отчасти романский (северная Италия, часть Румынии), угрофинский (Венгрия) и еврейский, связанный зачастую с немецкой языковой культурой, иногда также славянской (Чешские земли, Польша, Украина), который выступает как самостоятельный, единый феномен, с другой стороны, однако, распадается на отдельные составные части. Это касается и славянской центральноевропейской общности. По отношению к германским нациям отличаются друг от друга чехи, поляки и словенцы, по отношению к венграм – словаки, хорваты и живущие на территории южных славян восточные славяне, по отношению ко всем – евреи.

Центральноевропейский территориальный комплекс с изменчивой позицией культурных центров и периферий, а также со специфическим переплетением национальностей, культур и религий вынужден признавать культурную разнородность и критиковать узкий этноцентрический принцип. На территории Центральной Европы давным-давно бытовал мультикультурализм – задолго до мультикультурализма в его современном понимании.

Итальянский германист Клаудио Магрис в своей книге «Дунай» (Danubio), написанной накануне большого переворота в конце 80-х годов XX века, подчеркивает именно культурное значение упомянутой реки как связующего звена Центральной Европы. Дунай объединял немцев, западных славян, венгров, южных славян, касался и территории восточных славян, связывал территорию Центральной Европы с Балканами и средиземноморской зоной. Однако

существенная часть Центральной Европы тяготела не к Дунаю, а к Балтийскому и Северному морю, так что само сердце Европы – Чешские земли – распадаются с географической точки зрения на территории Брно на две противоположные части. Ареал Центральной Европы, однако, становился и культурной целью, притягивая разные феномены с востока, севера, юга и запада. Белорусский ученый Францыск Скарына (около 1490–1551), который родился в Полоцке и скончался, вероятно, в Праге, учился в университетах Польши, Италии и Чехии: именно в Праге он издал свой перевод Библии под названием «Бивлия руска». Украинские литераторы из Галиции публиковали свои сборники и отдельные произведения не только в Российской Империи (Киев, Харьков, Полтава), но и в Центральной Европе (Буда, Вена, Краков, Прага). Мультикультурным центром, в том числе и для славян, была Вена: межвоенный интеллектуальный и культурный треугольник Прага – Брно – Вена стал важным и для русских ученых-эмигрантов (Н. Дурново, Р. Якобсон, Н. Трубецкой). Центральная Европа фомировала и словенца Матия Мурко, который был тесно связан с немецкой культурой, и венского уроженца Рене Уэллека, позже известного американского литературоведа и компаративиста.

Моравия является типичным примером смешения и интерференции немецкого и славянского элементов: в городе Простейов (Prosnitz) родился философ-феноменолог Эдмунд Гуссерль, в городе Фрейберг (чешский Пржибор) родился Зигмунд Фрейд, в брненском ареале (Хрлице или Туржаны) появился на свет австрийский философ-эмпириокритик Эрнст Мах, критикуемый в свое время с материалистических позиций В.И. Лениным, в Брно вблизи философского факультета на улице Яселска (названной по польскому галицийскому городу Ясло, под которым боролась в годы Второй мировой войны артиллерия Чехословацкого военного корпуса в составе частей Советской Армии) жили почти рядом Карел Чапек (лишь один год, будучи гимназистом) и, свыше 25 лет, австрийский писатель Роберт Музиль. В нескольких шагах по направлению к историческому центру города находится здание бывшей немецкой гимназии (теперь это музыкальный факультет Художественной Академии им. Л. Яначека), в котором учился будущий первый че-

хословацкий президент Т.Г. Масарик (его статуя, созданная в конце 90-х годов 20 века, стоит напротив, перед зданием медицинского факультета Университета им. Масарика, раньше это был немецкий Технический вуз). Недалеко находится бывшее кафе Bellevue, где любил сидеть поэт Ян Скацел.

С другой стороны, центральноевропейский ареал сохранил и отношение к средиземноморскому наследию античной Греции и античного Рима (греко-римская мифология, мифологические архетипы, структура литературных родов и жанров, архетипы интертекстуальности, функционирующей как извечный круговорот сюжетов и мотивов), позже отношение к итальянскому Возрождению. Одновременно Центральная Европа обращается к славянскому и неславянскому Югу (Балканам) и славянскому Востоку, где посредством России открывается Азия. Транзитивный характер Центральной Европы сказывается и на ее ориентации на западноевропейские культурные и политические структуры: таким образом, например, чехи обращались к французской и английской философии, литературе и изобразительному искусству, чтобы сбалансировать доминирующее немецкое воздействие (Т.Г. Масарик в беседах с К. Чапеком подчеркивал, насколько антинемецкой была чешская университетская среда в Праге, но одновременно она не смогла представить себе, чтобы можно было открывать курс истории философии французами и англичанами).

В вопросе о центральноевропейском центризме сказал свое слово и упомянутый Р. Уэллек, беседуя с П. Демцем в конце 80-х годов 20 века. Именно в связи с националистическим пониманием территории Центральной Европы (*Mittleuropa*) в книге Ф. Науманна,¹ Р. Уэллек отказывается от функциональности этого понятия; он относится скептически к возобновлению Центральной Европы в любом смысле (это было еще до переворота 1989 года), хотя П. Демец уже тогда иронически указывал, что их разговор никак не может выйти из заколдованного «центральноевропейского» круга. В ответ на антиславянскую концепцию Ф. Науманна некоторые

1 F. Naumann, *Mittleuropa* (Berlin, 1915).

исследователи избегают понятия *Mitteleuropa*, предпочитая ему *Zentraleuropa* [английское *Central Europe*].

Феномен Центральной Европы был несколько раз отвергнут и повергнут, образовав сложную, взаимно связанную, но и много раз прерванную гетерогенную сеть, которая перманентно сближается и разъединяется, находя общие черты и, одновременно, резкие отличия и противоречия. Характерная расслоенность территории не раз обнаруживалась в роковые минуты истории Европы – недаром начало обеих войн связано с обстановкой или, точнее говоря, с резким изменением обстановки именно в Центральной Европе. Существует ряд культурных феноменов, которые связывают ареал Центральной Европы воедино, например *Biedermeier*, или, в общем, ощущение истории, отдельных исторических событий и некоторых пластов менталитета; существуют, однако, и резкие противоречия, в том числе религиозные и, позже, с «весны народов» 19 века, национальные.

Прочность, стабильность и доминанта одного политического, экономического и культурного центра и господствующего языка и литературы привели к распаду Австро-Венгрии. Самой благоприятной средой для ареала Центральной Европы является, напротив, нестабильность, непрочность, изменчивость, гетерогенность или, точнее говоря, определенный баланс между ментальным и культурным моноцентризмом и полицентризмом, мультикультурализмом и автономизмом. С этой точки зрения Центральная Европа является скорее культурным, ментальным, чем политическим целым.

Именно вторая половина 80-х годов XX века ознаменовала новое начало возобновленного интереса к Центральной Европе, сначала в Австрии, в которой он был поддержан со стороны некоторых аристократических кругов. Думалось, что можно возобновить значение этого понятия как символа бывшего монархического единства, как своего рода преддверие нового единения на более широкой основе. Конец коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе привел к новым концепциям и даже политическим планам. Оказалось, что этот феномен остается неуловимым и нель-

зя его использовать в любых целях, что он является слишком ломким, мягким, хрупким, неустойчивым и исторически подвижным.

Вместе с развитием особой культурной, духовной атмосферы на территории Центральной Европы образовалась и особая литература, связанная с ее судьбами, насыщенная специфическими приемами, темами, мотивами, персонажами и проблемами. Именно особая культурная атмосфера Центральной Европы способствовала формированию личностей, особо чувствительных к разным менталитетам и манифестациям мультинациональных и мультикультурных начал. Однако ареал Центральной Европы не был сложным только с ментальной и культурной точек зрения; огромные политические сдвиги 20 века повлекли за собой испытания характеров и трагедии человеческих судеб. Общественные катаклизмы и последствия революционных переворотов воздействовали на ареал Центральной Европы прежде всего в межвоенный и послевоенный периоды.

Существование обеих черт ареала Центральной Европы привело и к образованию разных общих и частных концепций Центральной Европы. Если пропустить сложные исторические судьбы понятия в 19 веке, можно сразу же начать с нашумевшей когда-то книги Фридриха Науманна, члена Рейхстага. Книга в несколько сот страниц содержит обстоятельный политический, экономический и культурный материал в ряде глав, в том числе *Der gemeinsame Krieg und seine Folge, Zur Vorgeschichte Mitteleuropas, Konfessionen und Nationalitäten, Das mitteleuropäische Wirtschaftsvolk, Gemeinsame Kriegswirtschaftsprobleme, Zollfragen*. Науманн прежде всего отрицает возможность образования Центральной Европы как своего рода федерации; причина этому – национальные противоречия. Необходимо, по его мнению, чтобы одна нация и один язык на этой территории и в едином среднеевропейском, унитарном, централизованном государстве преобладали – а именно немецкая нация и немецкий язык. Между прочим, к книге Науманна не раз критически возвращались и современные исследователи, подчеркивая, что *Mitteleuropa* – не Центральная Европа. Везде в мире, прежде всего в США, под этим термином подразумевается националистическая концепция Ф. Науманна, которая с общей точки зрения неприемле-

ма. Генри Корд Мейер в книге *Drang nach Osten. Fortunes of a Slogan-Concept in German-Slavic Relations, 1849–1990* [Peter Lang, Bern – Berlin – Frankfurt am Main – New York – Paris – Wien 1996] пишет:

“That was during the 1980s, with the emergence of a curious kind of *Mittleuropa* enthusiasm. Here various Polish, Czech, and Hungarian intellectuals – avidly abetted by certain Austrian conservative circles – spoke and wrote of a better mid-European future. No doubt seeking some escape from the intellectual strait jacket of Marxist-Leninist certitudes, these folk embraced the expression *Mittleuropa* as a talisman for their vague anti- or post-Communist formulations. They seemed evidently quite oblivious to the *real* ideological significance of the term, as developed initially during World War I and subsequently manipulated by the Nazis, as a pattern for specifically German-dominated solutions for mid-European problems. Though no doubt some broad areas of fruitful discussions were opened by these initiatives, there was apparently no sense of the possible perils of jumping out of a Soviet pan into a German fire.” (p. 137).

Результат Первой мировой войны не подтвердил эти концепции; тем не менее, идея Центральной Европы как особого пространства не переставала бытовать в книгах и статьях исследователей даже после распада единой дунайской монархии на несколько новых независимых государств (королевская Югославия, Чехословакия, восстановленная Польша). Появляются новые книги, содержащие концепции центральноевропейской федерации с интегрированным хозяйством, транспортом, культурой и политикой, но с автономными составными частями, нынешними независимыми государствами. Эти книги писались на немецком, французском и других языках. Однако начало гитлеровской диктатуры в Германии (1933) уничтожило возможность осуществления этих планов. После Второй мировой войны возник известный биполярный мир, железный занавес и холодная война. Понятие Центральной Европы будто бы исчезло. Недаром М. Кундера в известном австрийском сборнике Эргарда Бузека в пору, когда вновь начали думать о Центральной Европе, жаловался, что все изменили Центральной Европе как (по крайней мере) культурному феномену, все забыли о нем; все заботятся лишь о своем – Запад о Западе, Восток о Востоке.

Именно вторая половина 80-х годов 20 века ознаменовала новое начало возобновленного интереса к Центральной Европе, прежде всего в Австрии, в которой он был поддержан со стороны некоторых аристократических кругов. Думалось, что можно возобновить значение этого понятия как символа бывшего монархического единства, как своего рода преддверие нового единения на более широкой основе. Конец коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе привел к новым концепциям и даже политическим планам. Оказалось, что этот феномен остается неуловимым и нельзя его использовать в любых целях, что он является слишком ломким, мягким, хрупким, неустойчивым и исторически подвижным. Хотя были попытки формирования новых интеграций и некоторые из них удались, все еще кажется, что это скорее тяготения и тенденции, чем прочное и устойчивое движение к новому единству. Феномен Центральной Европы остается до сих пор скорее культурным и Центральная Европа является скорее духовным пространством, к которому примыкают и более отдаленные нации, их культура и менталитет. Такие тенденции наблюдаются, например, на Украине, еще отчетливее в Беларуси, в которой именно оппозиционно настроенные круги молодежи, издающие свои журналы в Минске, Вильнюсе и в Польше, связывают свое будущее с территорией демократической Центральной Европы.

В 20–30-е годы 20 века в Веймарской Германии в связи с усиленным интересом к феномену Центральной Европы появились размышления о Центральной Европе как о первом шаге к единой Европе. Центральная Европа представляет своеобразное явление как таковое; с другой стороны, она содержит и общеевропейские признаки, она является их особым перекрестком, мостом, по которому ведут пути с Севера на Юг, с Запада на Восток и обратно. Именно она является до сих пор – в силу сложной истории, расслоенности и разных сосуществующих культурных пластов – лакмусовой бумагой состояния европейской мысли. Центральную Европу, следовательно, нельзя уничтожить, этот феномен можно только функционально использовать. Политические и административные методы функционируют всегда успешно, быстро, действенно, но недолго и неглубоко, экономические более стабильны, но самыми

прочными и практически вечными являются психо-культурные архетипы, которые образовались на протяжении веков. По этим причинам изучение Центральной Европы и всех ее аспектов, главным образом языка и литературы как устойчивых, но, одновременно, динамичных и исторически изменчивых структур, неизбежно.

Феномен Центральной Европы играл важную роль в восприятии России и русской культуры и искусства в целом, т. е. и чешский образ русского мира проходил через призму центральноевропейских стереотипов. С другой стороны, русские нередко проникли в Центральную Европу в военном и научно-культурном смысле, именно в XX веке они особым образом влияли на формирование центральноевропейской науки и культуры как в смысле советского влияния, так и воздействия русской эмиграции. Русские входят в состав Центральной Европы, и чешский взгляд на Россию находится под влиянием общецентральноевропейского, т. е., главным образом, германо-славянского комплекса, менталитета и культурных моделей, которые в этом ареале постепенно образовались на протяжении веков.

II. Чешские земли и Россия – исторические корни и перипетии отношений

Чешский взгляд на русскую литературу сейчас не очень отличается от нашего понимания этой литературы до 1989 года. Тогда все было под сильным идеологическим давлением, но в принципе никогда не исчезал чешский критический взгляд на русские дела в общем и на русскую литературу в особенности. Известно, что такой взгляд отстаивал бы не каждый, но если посмотреть на страницы чешских русистских и славистических изданий и периодики, сборников и монографий в определенные периоды подъема, т. е. во второй половине 60-х годов² 20 века и во второй половине 80-х годов³

2 См. Alena Vachoušková, *Česká literární věda – slavistika v období Pražského jara (1967–1969). Bibliografie* (Praha, 1998), 382 p.

3 См. наше избранное *Spálená křídla. Malý průvodce po české recepci ruské prózy 70. a 80. let 20. století* (Brno: Masarykova univerzita, 1998).

20 века, можно наблюдать определенный сдвиг стратегии, причем качество восприятия остается неизменным.

В чешско-русских отношениях в общем и в литературных связях в особенности наблюдается заметная черта, которую можно с определенной утрировкой назвать *Haßliebe* [т. е. любовь-ненависть, лат. *Odi et amo*]. Рецепция русской литературы в Чехии и Моравии реализовывалась зачастую непрямолинейно, в крайних формах, от энтузиазма до критики и даже сопротивления. Рецепция своего времени иногда не соответствовала позже стабилизированной ценностной иерархии (например, издания Фаддея Булгарина в чешской литературе периода национального возрождения соответствовало читательскому спросу в России; похоже было и с поэзией Евгения Евтушенко); иногда образовывалась своя иерархия ценностей (еще более сильный культ творчества Андрея Вознесенского, Марины Цветаевой, усиленный ее мнимой любовью к Чехии, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Геннадия Айги, что было вызвано, частично, их ролью посредников или их политическим преследованием). Важную роль в процессе рецепции русской литературы в чешской культурной среде играл и регионализм в смысле рецепционной специфики региона, города или даже влиятельного университета.

Нельзя серьезно и критически анализировать русскую литературу вне принципиальных положительных эмоций и позитивного отношения к духовным ценностям русской жизни вообще. Гиперкритицизм слишком часто переходит к констатации русской отсталости и к взгляду на Россию как на врага или что-то чужое, экзотическое и непонятное, что резко противоречит чешскому взгляду на Россию в 19 и в первой половине 20 веков. С этим тесно связан специально конструируемый дисконтинуитет чешского взгляда на русскую литературу. Выходом из положения конца 20 и начала 21 веков является систематическое применение литературной компаративистики и ориентация на эстетические ценности русской литературы, т. е. на ее поэтику и ценности русской духовной жизни. Само возникновение русской средневековой литературы призывает к такому подходу в смысле впитывания чужих, аллохтонных элементов, столкновения автохтонного и чужого, аллохтонного слова,

фольклора и придворной литературы, восточнославянских и южнославянских слоев, диглосии и т. д.⁴ Компаративные связи русской литературы вытекают из ее исследований более естественно, чем у многих других национальных литератур, ее сравнительный, гетерогенный характер очевиднее, нагляднее, выразительнее, четче, чем в других национальных литературах.

Связи и близость чешской и русской литератур дана, с одной стороны, близостью языка и культуры, с другой, общими событиями истории, главным образом в раннем Средневековье,⁵ т. е. ролью и функцией церковнославянской письменности.⁶ Однако даже после церковной схизмы в 1054 г. и монголо-татарского нашествия на Русь в 13 веке нельзя говорить о ликвидации преемственности в чешско-русских связях, хотя они зачастую были сложно опосредованы в период гуманизма, ренессанса и барокко, когда наблюдается повышенный русский интерес к католицизму. Эти контакты подчеркиваются более или менее филиацией некоторых литературных произведений.⁷

4 I. Pospíšil, „Existence, struktura, rozpětí a transcendence staroruské literatury (Poznámky k některým metodologickým problémům),“ *Slavica Litteraria* X 1(1998), pp. 27–37.

5 См., например, F. Wollman, *Slovesnost Slovanů* (Praha, 1928); Чехословацко-русские литературные связи в типологическом освещении. Москва, 1971; Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения. Москва, 1968; *Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků I–II*. (Praha, 1965, 1969); *Čtvero setkání s ruským realismem* (Praha, 1958); J. Dolanský, *Mistři ruského realismu u nás* (Praha, 1960); *Повда К.И. Чехи и русские в их литературных взаимосвязях. 50–60е годы XIX века*. Ленинград, 1968; А. М. Pančenko, J. Dolanský, *Ohlas dvou ruských básníků v Rukopisech královédvorském a zelenohorském* (Praha, 1969); R. Parolek, *Vilém Mrštík a ruská literatura* (Praha, 1964); *Malý slovník rusko-českých literárních vztahů* (Praha, 1986); D. Kšicová, *Ruská literatura 19. a počátku 20. století v českých překladech* (Praha, 1988); O. Richterek, *Dialog kultur v uměleckém překladu* (Hradec Králové, 1999); O. Richterek, *Úvod do studia ruské literatury* (Hradec Králové, 2001).

6 См. Josef Vašica, *Eseje a studie ze starší české literatury*. Edičně připravil Libor Pavera (Opava – Šenov u Ostravy, 2001); Libor Pavera: Josef Vašica (30. 8. 1884 – 11. 4. 1968), *Pokus o portrét* (Opava, 2001).

7 См. S. Mathauserová, *O Vasiliji Zlatovlasém, králevici české země* (Praha, 1983).

Новый импульс в чешко-русских литературных отношениях приходит в связи с классицизмом и просветительством и еще сильнее в период преромантизма и романтизма: известен библиографический интерес Вацлава Фортуната Дурыха (1735–1802) к России, шестимесячное пребывание Йосефа Добровского в России в 1792 г., в течение которого он способствовал переводу *Повести временных лет* на немецкий, критический интерес П.Й. Шафарика и ключевая с точки зрения русистики и славистики деятельность Вацлава Ганки (1791–1861), присутствие русской литературы в *Словесности* (1820) Й. Юнгманна, русистская деятельность Ф.Л. Челаковского и К.Я. Эрбена (перевод *Слова о полку Игореве, Задонщины*; в 1862 г. он получил орден св. Анны, с 1856 г. он стал почетным членом Санкт-Петербургской Академии наук).

Коренным переломом в чешском восприятии России, зачастую туманном, но, преимущественно положительном, было творчество Карела Гавличека Боровского (1821–1856). Его *Русские картины* (*Obrazy z Rus*; фрагменты публиковались еще с 1843 г. в журнале *Кветы* и в *Часописе Чешского Музея*): первоначально славянски ориентированный молодой человек познает в Москве русскую автократию и в первый раз в чешской среде показывает Россию с ее светлыми и темными сторонами, среди которых центральное положение занимает неуважение к человеку.

Хотя двоюродный брат Н.Г. Чернышевского Александр Пыпин (1833–1904) знакомит чешскую и русскую читательскую публику с состоянием обеих литератур, прекращая, таким образом, односторонний характер чешко-русских отношений этого времени, нельзя не констатировать, что эти отношения оставались более или менее делом чешской стороны. Интерес России к чешской литературе был скорее утилитарный или языковой, научный и политический, чем конкретно эстетический, хотя и в этом отношении находятся плодотворные контакты с русской стороны, в том числе Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и других.

Именно сфера литературоведения показывает, что Средняя Европа формировалась не только собственно центральноевропейцами, но и представителями восточных славян. Связь среднеевропейских университетских и научных традиций, а также восточнославянской

традиции общения и научных обществ, политических и научных кружков сыграла большую роль в процессе возникновения Пражского лингвистического кружка. Как оказалось, именно межвоенная территория Чехословакии благоприятствовала слиянию и своеобразному компромиссу между технологическими и более мягкими методами, связанными с «*Geisteswissenschaft*». Так, в частности, профессор Сергей Вилинский, работающий в Университете им. Масарика в Брно с 1923 г., как бы символически соединил традицию филологического метода в рамках медиевистики, особый вид феноменологии (в зимнем семестре 1913 г. он преподавал молодому М. Бахтину в Новороссийском университете в Одессе) и историческую поэтику; деятельность Романа Якобсона, выпускника Московского университета, как одного из организаторов ПЛК, достаточно хорошо известна. Особые методологические сдвиги в сторону исторического компромисса между психологическими и имманентными методами наблюдаются у Рене Уэллека (1903–1995; его учителями были чешский германист, поэт, переводчик и литературовед психологической ориентации Отокар Фишер, а также лингвист-англист, структуралист Вилем Матезиус).

Интересное явление представляют как бы периферийные личности, в частности, первый чешский и моравский историк русской литературы, переводчик Алоис Аугустин Врзал (1864–1930), полонист, русист и украинист-литературовед Мечислав Кргоун и несколько литературоведов-учеников основоположника брненской литературоведческой славистики, профессора Франка Вольмана, методология которого (эйдология) связана с Пражским лингвистическим кружком и чешским структурализмом.

В 1874 году благодаря инициативе Матице Моравске (*Maticе moravská*, напечатала «*Akciová moravská kněhtiskárna*») выходит в свет первый том издания *Славянские поэзии (Slovanské poezije)* с подзаголовком *Избранное народной и новой (художественной) славянской поэзии в чешских переводах (Výbor z národního a umělého básnictva slovanského v českých překladech)*. Первый том называется *Русская поэзия (Ruská poezije)*, его составителем, автором комментариев и историко-литературных введений был известный брненский самоучка, филолог, автор нескольких учебников иностранных

языков⁸ Франтишек Вымазал (1841–1917).

В чешской антологии русской поэзии Ф. Вымазал использовал существующие переводы, дополнил том своими собственными переводами и портретами отдельных авторов. Свою книгу он посвятил «самоотверженному защитнику наших прав (*т. е. прав чешской нации – замечание мое – И.П.*), благородному господину Эгберту, графу Белкреду».

Существенным вкладом Ф. Вымазала было акцентирование силы славянской фольклорной традиции; он подчеркнул, как великорусская и малорусская (украинская) литературы берут свое начало из народной поэзии. Составитель, разумеется, был полностью убежден в подлинности знаменитых чешских раннесредневековых рукописей (Краловедворской и Зеленогорской), связывая их воедино с подобными памятниками восточных и южных славян. В первом томе Ф. Вымазал уделяет внимание былинам и *Слову о полку Игореве* – здесь он прибегает к чешским переводам Лангера, Гебауэра и своим собственным, которые явно преобладают. Составитель *Русской поэзии* не забыл даже *Повесть о горе-злосчастии*; кроме того, наряду с эпическими произведениями, он уделяет пристальное внимание и песенной любовной лирике, казацким и разбойничьим песням (переводы Ф.Л. Челаковского). Следует отдать должное Ф. Вымазалу и в том, что он блестяще обнаружил характер русской народной поэзии и ее главные темы, насыщенные трагизмом, грустью и осознанием ограниченных человеческих способностей в необоз-

8 *Böhmische Grammatik für deutsche Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten*, 1881 (Чешская грамматика для немецких средних школ и учреждений по образованию учителей), *Gramatické základy jazyka srbského čili charvátského*, 1895 (Грамматические основы сербского или же хорватского язык), *Hebrejsky snadno a rychle*, 1897 (По-еврейски легко и быстро), *Litevsky snadno a rychle*, 1902 (По-литовски легко и быстро), *Anglicky snadno a rychle*, 1902 (По-английски легко и быстро), см. также пособия по разговорной практике, например, *Čech s Francouzem rozmlouvající*, 1902 (Чех, разговаривающий с французом) и *Čech s Rusem rozmlouvající*, 1902 (Чех, разговаривающий с русским).

римом российском пространстве. В переводе К.Я. Эрбена приводится *Слово о полку Игореве*. Новый этап развития русской литературы представлен, в частности, произведениями Ломоносова, Державина, Дмитриева, Крылова и др. Наиболее яркий представитель русского романтизма В.А. Жуковский представлен балладой *Светлана* – реминисценцией и трансформацией *Леноре* Г.А. Бюргера, которую русский романтик сам перевел и обработал. Составитель антологии также не обошел вниманием современников и предшественников Пушкина (К.Н. Батюшков), декабристов (К.Ф. Рылев). Выбор произведений для сборника свидетельствует о том, что его любимым поэтом был уроженец Воронежа, деревенский поэт-самоучка А.В. Кольцов (в разных переводах он в антологии занимает 17 печатных страниц, т. е. больше, чем, например, Н. Некрасов). Причина этого, вероятно, заключается в том, что Вымазал предпочитал устную народную словесность и ее подражания художественной поэзии. Ф. Вымазал не мог не быть сыном своего времени. Он выбирал, прежде всего, стихотворения на политические, национальные и славянские темы. И Ф.И. Тютчев характеризуется им как поэт славянской взаимности (стихотворения *Славянам* и *Вацлаву Ганке*), хотя – объективно говоря – он как поэт, в первую очередь, остается скорее поэтом природных катаклизмов, смерти и трагической любви.

Следует обратить внимание и на то, что А.С. Пушкин занимает в антологии Ф. Вымазала почетное место, хотя комментарий к нему сравнительно короткий и неоригинальный. Кажется, однако, что Ф. Вымазал был полностью согласен с не очень положительной оценкой поэта, которая базировалась на русских источниках. Пушкин находился, пишет составитель антологии, «в плену», из которого Николай I велел его вернуть, чтобы стать его цензором. Пушкин не был, пишет Вымазал, поэтом первоклассным, но на Руси явился в качестве метеора. Только позже он достиг определенной степени оригинальности. В *Евгении Онегине* поэт находится под влиянием Байрона, *Евгений Онегин*, как и *Дон Жуан*, является бесформенным плодом, странной смесью лирики и эпоса, действия и философии, подлинности и осмеяния – это, пишет Вымазал, читатель воспринимает с трудом. Напротив, *История Пугачева* и *Капитанская дочка* считаются зрелыми плодами искусства Пушкина, в них более вы-

ражен народный дух (Вымазал, с. 88). Кроме пейзажной и философской лирики Вымазал включает в антологию *Сказку о золотой рыбке, Братьев-разбойников, Полтаву* и отрывки из *Евгения Онегина* (в частности, письмо и сон Татьяны). Составитель включил и спорное стихотворение *Клеветникам России*, в котором, как известно, Пушкин критикует вмешательство европейских держав в польско-русский конфликт в связи с польским восстанием 1830–31 гг. Некритично принятые взгляды и акценты, отражающиеся и в выборе стихотворений, свидетельствуют о предпочтении Вымазалом Пушкина как исторического и политического поэта; философские аспекты очутились на заднем плане. Поэт представляется не как защитник свободы и скептический декабрист, а скорее как русский национальный, может быть, и государственный поэт, поддерживающий государственную политику. Это, однако, своеобразно отражает многосторонность, многогранность пушкинских воззрений и их амбивалентность.

III. Аутсайдеры, ученые и новые подходы

В широком контексте чешских исследований русской литературы и русско-чешских литературных связей Й. Добровского, Й. Юнгманна, П.Й. Шафарика, К.Я. Эрбена, В. Ганки и др., специфическое значение имеет творчество Йосефа Йирасека (1884–1972). Оно по своему характеру стоит на грани научного и популярного: Йирасек зачастую ориентируется на обзорные статьи и комплексные очерки, компиляции и популярный синтез. С точки зрения методологии Йирасек представляет собой смесь эклектизма, основанного на позитивистских подходах, архивных расследованиях и воздействии *Geistesgeschichte* и *Ideengeschichte* с особым психологическим и нарративным уклоном. Йирасек, прежде всего, рассказчик историко-литературных историй, занимательных – и научных – сюжетов. Не случайно в 70-е годы XX века в бывшей Чехословакии, хотя тогда по известным объективным и субъективным, в том числе политическим, причинам был явный недостаток обзорной литературы по русской письменности, наши преподаватели не очень рекомендовали известный, но устаревший труд Й. Йирасека *Обзор истории*

русской литературы (в 4 томах),⁹ объясняя это, прежде всего, его излишней популяризацией и якобы ненаучностью.

Именно эта книга сыграла в свое время важную роль в формировании представлений широкой чешской общественности о русской литературе. Разумеется, Йирасек исходит из своих предшествующих статей и книг, излагающих, прежде всего, проблемы чешско-русских культурных и, в особенности, литературных отношений. Следовательно, его концепция может казаться мало литературной в смысле яacobсоновской «литературности», литературной специфики, основанной на приемах русской формальной школы. Йирасеку близок, с другой стороны, более широкий культурный или культурно-политический круг, он исходит скорее из культурных эпох, тесно связывающихся с политико-экономическими данными и развитием общественной структуры в целом. То, что сначала казалось в сопоставлении с технологическими приемами устаревшим, исходящим из традиции немецкой *Ideengeschichte* или *Geistesgeschichte*, выглядит в настоящее время в контексте литературоведческой методологии ареальных исследований почти современно, как своего рода прогрессивная инновация. Язык автора, хотя и немного устарел с того времени, принадлежит, в основном, к свежему пласту литературного эссеизма, его изложению не чужд социологизм и психологизм, обстоятельное знание культурной и общей историографии восточных славян в контекстуальном европейском понимании. Все это свидетельствует о своеобразной, хотя теперь скорее исторической ценности этого обзора русской литературы, в котором особое внимание уделяется пространственному аспекту (Киев – Москва – Санкт-Петербург – Москва), т. е. воздействию российского пространства как динамического, гибкого фактора формирования культурного и литературного развития и процесса в смысле известного изречения П.Я. Чаадаева в его первом *Философическом письме* (1836) и в *Апологии сумасшедшего* (1837).

Й. Йирасек, хотя в его исследовании акцентируются, прежде всего, классические и традиционные черты русской литературы, не

9 J. Jirásek, *Přehledné dějiny literatury ruské. Josef Stejskal v Brně, Miroslav Stejskal v Praze 1945* (1946).

избегает и более глубокого фактографического изложения русской литературы нового времени и русского модернизма, который к нам попадал еще до Первой мировой войны, но главным образом после двух революций 1917 года и в годы Советской России и СССР, зачастую в подобию авангарда и авангардизма, связанных с левой идеологией. Тем ценнее независимые интерпретации Й. Йирасека, принимающего во внимание европейский контекст русской литературы и применяющего известный «вид издали и сверху», т. е. подчеркивающего определенную аксиологическую дистанцию. Это, разумеется, тесно связано с критическим пониманием русской литературы, русской действительности, а также политических структур России до и после Первой мировой войны. Именно военные годы, находящиеся в традиционных русских изложениях скорее в тени революций и событий гражданской войны, зачастую идеологически искаженные, выступают тут как важный фактор, воздействующий на развитие русской литературы. Следует отметить, что у Йирасека они прослеживаются достаточно выразительно – новая русская история литературы свидетельствует о том, что подход Й. Йирасека был в этом отношении пророческим.¹⁰

В заключительных главах сочинения Ф. Вольмана *Славизмы и антиславизмы в весну народов* (1968)¹¹ удачно представлена реалистическая, трезвая глава *Русский панславизм у «братушек»*, начинающаяся с обстоятельного анализа сочинения Людовита Штура *Славянство и мир будущего* (в немецком оригинале *Das Slawenthum und die Welt der Zukunft, Botschaft eines Slowaken vom Jahre 1855 an alle slawischen Völker*; рукопись восходит, вероятно, к 1855 г., бра-

10 См. *Иванов, А.И.* Первая мировая война в русской литературе 1914–1918 гг. Тамбов: Тамбовский гос. университет им. Г.Р. Державина, 2005.

11 См. нашу статью „Slavismy a antislavismy za jara národů Franka Wollmana: analýzy a přehady,“ in: *Slavista Frank Wollman v kontexte literatury a folklóru. I.* Eds. Hana Hlôšková, Anna Zelenková (Bratislava–Brno, 2006), pp. 103–112. См. также нашу статью *Das Slawenthum und die Welt der Zukunft Ludovíta Štúra, edice Josefa Jiráska, Wollmanovy Slavismy a antislavismy za jara národů a jejich přehady.* In: *Zrkadlenie/Zrcadlení. Česko-slovenská revue* 2006, 4, pp. 34–44.

тиславское издание Йосефа Йирасека появилось в 1931 г.) и его русского контекста; все потом кульминирует так называемым эпитафом пасславизма А. Пыпина (см. *Обзор истории славянских литератур*, 1865 г.). Интересно, что в то время как другие сочинения Штура были и до сих пор остаются центром внимания исследователей, его наиболее противоречивое произведение становится объектом серьезного исследования только недавно. Тем важнее представляется успешная попытка Й. Йирасека заново издать и прокомментировать его в 30-е годы XX века, в период возрастающего международного напряжения накануне Второй мировой войны. Необходимо добавить, что Йирасек всегда тонко чувствовал порывы истории, резко меняющиеся общественные условия, модифицирующуюся политическую атмосферу.

Вернемся, однако, к братиславскому изданию Штура с чешскими аннотациями на полях. Следует, прежде всего, понять поэтику оригинального названия и подзаголовка: *Das Slawenthum und die Welt der Zukunft, Botschaft eines Slowaken vom Jahre 1855 an alle slawischen Völker*. Это, следовательно, призыв к народам, послание, письмо, в котором Штур обращается ко всем славянским народам, определенная программа, хотя и не осуществимая, но исходящая из конкретного, может быть, слишком эмоционального анализа условий в определенный, кризисный момент славянской и словацкой истории. Противоречивые взгляды на это ключевое произведение Л. Штура, на это «опасное» и все время провоцирующее произведение, которое усложняет роль историков и филологов и тревожит тех, кто тяготеет к более официозному образу творца словацкого литературного языка, свидетельствуют о том, что мы до сих пор не сумели воспринять его содержание и потенциальное влияние в целом, во всей широте его семантических проявлений и комплексе всех его значений.

Стало очевидным, что именно это произведение, которое впервые было издано на русском языке (издание Ламанского 1867 г., Гротта и Флоринского 1909 г.) тогда превосходно совпало с возобновлением интереса к религиозной философии и неославянофильским идеям после разгрома первой русской революции (следует заметить, что, как известно, 1909 год – это год издания сборника

Vexi). Только позднее благодаря Й. Йирасеку это произведение появилось и на своем оригинальном, т. е. немецком языке (1931), и очень поздно в словацком переводе (1993).

Братиславское издание Й. Йирасека¹² является интересным во многих отношениях. С одной стороны, потому, что оно напечатано как второй том серии *Источники* Ученого общества им. П.Й. Шафарика, носителя чехословакизма первой Чехословацкой Республики и чешского влияния в столице Словакии, с другой, тем, что в издании принял участие, кроме Й. Бабора и О. Соммера, также известный богемист и словакист, работающий тогда в Братиславе, Альберт Пражак.¹³ Издатель благодарит за помощь, между прочим, Министерство Народного Просвещения, Министерство Иностранных Дел, выдающихся ученых и культурных деятелей Альберта Пражака, Р. Голинку и Ш. Крчмеры, а также В.А. Францева, в прошлом профессора русского Варшавского университета, позже Карлова Университета, который свою библиотеку, как известно, подарил Славянскому семинару Университета им. Масарика, т. е. выдающихся ученых и культурных деятелей.

Йосеф Йирасек как видный чешский русист, словакист, славист и компаративист до сих пор, к сожалению, недооценивается, подобно другим исследователям периода первой Чехословацкой Республики. Как показано выше, он обладал чутьем в изучении сравнительного фона литературных явлений, сумел рассматривать литературу в более широком культурно-политическом контексте и, следовательно, таким образом он в определенном смысле предвосхищал современные ареальные и культурологические стремления интегрировать язык и литературу в более широкие культурные комплексы. Следует отметить и то, что он оставил нам до сих пор непревзойденное произведение *Россия и мы* (1945, 1946) и другие

12 Eudovít Štúr, *Das Slawenthum und die Welt der Zukunft. Slovanstvo a svět budoucnosti* (Bratislava, 1931).

13 О его отношении к Словакии см. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, „Literární historik Albert Pražák (Paměti jako poetika povinnosti a deziluze),“ in: *Albert Pražák: Politika a revoluce. Paměti*. Eds: Miloš Zelenka, Stanislav Kokoška (Praha, 2004), pp. 163–190.

исследования, посвященные, например, роли Словакии.¹⁴ Необходимо добавить, что хотя его позиция по отношению к Словакии была несколько устаревшей, его критический и реалистический взгляд все-таки позволил ему увидеть тенденции развития словацкой общественной мысли, которые проявляются здесь до сих пор. Роль Йосефа Йирасека в чешской славистике ждет своей новой оценки; эти мимолетные, скорее методологические замечания можно воспринимать как попытку обратить внимание на некоторые существенные черты его исследований.

Й. Йирасек, прежде всего, сомневается в подлинности русских изданий В. Ламанского (1867) и К. Гротта и Т. Флоринского (1909).¹⁵ С другой стороны, он думает, что произведение Штура не подделка, объясняя его возникновение естественно на основе местных условий, европейской ситуации и французских, австрийских, немецких, а также английских идей середины XIX века. Йирасек положительно оценивает это произведение потому, что Штур в нем, по его мнению, методологически последователен: царскую автократию, т. е. самодержавие, самовластье он предлагает как наиболее подходящий вариант государственности для всех славян без исключения.¹⁶

Между прочим, Штур в трактате, написанном на немецком языке, противопоставляет Запад Востоку и на Западе находит много всяких пороков, в том числе нестабильность, неустойчивость и насильственные изменения (цитируется по изданию Йирасека с оригинальным немецким правописанием, присущим тому времени):

«С точки зрения политики Запад мчится от абсолютистских монархий к конституционным государствам, от них опять к политическим и, в конце концов, социальным и коммунистическим республикам, где потом все кончится распадом человечества и уничтожением всей человечности. В этом движении, сверх того,

14 См., например, *Slovensko: jeho dejiny, pomery zemepisné a hospodárske, jazykové, literárne a kultúrno-politické. Malý sprievodca po Slovensku* (Bratislava, 1922); *Slovensko na rozcestí: 1918–1938* (Brno, 1947).

15 Štúr, *Das Slawenthum*, pp. 3–4.

16 Štúr, *Das Slawenthum*, pp. 7–8.

фатально то, как только Запад очутился в этом водовороте, нельзя его уже ничем остановить. Ничего больше не имеет никакой опоры, нигде нет спокойствия, все мчится вперед, все бьется, все лобуется в мечтах достигнутым будущим – гибелью! Революции будут следовать одна за другой и каждый раз нации Запада будут в худшем положении, чем перед ними. Грядущие поколения будут все более распутными и плохими, они уже живут в этом воздухе, питаюсь им; воспитание определяется западным духом времени; оно удрученное, увядшее, безо всякой строгости; изнеженность, сладострастность, расточительность все чаще вытесняют былой аскетизм, серьезность и созидательность: пусть, следовательно, колеса воза продолжают крутиться, ибо обратить вспять их нельзя, пусть мчатся с народами Запада, пока их мощная рука не остановит на краю пропасти».¹⁷

Напротив, у русских Штур видит любовь к царю и самодержавию: «В России народ обращает взор к своему царю-государю с бесконечной любовью и восторгом, оказывая ему безграничный почет и уважение – пусть это безграничное уважение сохранилось бы в своей проникновенности и свежести и далее процветало в пользу единого целого, радостно подчиняясь велению царей в убеждении, что его цари не хотели бы для народа ничего вредного, с охотой принося и самые большие жертвы, и никто не сможет увидеть в этом черты раболепности».¹⁸ Для Штура также типична концепция русского языка как будущего единственного и общего литературного языка всех славян.

Настоящим шедевром Йсефа Йирасека является, однако, его *opus magnum*, т. е. *Россия и мы*, детальный, тщательный и насыщенный материалом анализ чешско- и чехословацко-русских отношений с их начала по 1914 год.¹⁹ Методологию анализируемого автора, как уже частично иллюстрировано выше, можно охарактеризовать как

17 Štúr, *Das Slawenthum*, pp. 132–133.

18 Štúr, *Das Slawenthum*, p. 149.

19 См. Josef Jirásek, *Rusko a my: dějiny vztahů československo-ruských od nejstarších dob do roku 1914. Miroslav Stejskal a Josef Stejskal*, (Praha–Brno, 1946).

смесь позитивистской тщательности, последовательного изучения источников со способностью популяризации и функционального упрощения. То, что является, на наш взгляд, самым существенным – это критический подход Йирасека к чешско-русским отношениям, с одной стороны, а с другой, положительная оценка культурной миссии России в Центральной Европе в общем и в чешской и словацкой среде в особенности. Кроме того, значительное внимание здесь уделяется филологической стороне этих отношений, которые были и сейчас считаются ядром чехословацко-русского общения в прошлом и настоящем. Несмотря на временное давление, связанное с возрастающим влиянием СССР и его идеологии, Йирасек даже в эйфории после Второй мировой войны сумел увидеть и темные стороны этих отношений, их односторонность, не замалчивая известный русско-чешско-польский треугольник. (Книге *Россия и мы* предшествовало исследование 1933 года *Чехи, Словаки и Россия*, в котором уже намечены почти все основные методологические подходы и объем материала).²⁰

Несмотря на начальные этапы отношений, связанные с Великой Моравией, Пржемысловской Чехией и Киевской Русью, их исходным интенциональным пунктом Йирасек по праву считает эпоху Просветительства, причем самым блестящим их этапом является, по его мнению, деятельность Й. Добровского. Интересно, что Йирасек заметил и менее известные черты характера исследователя, что бросается в глаза именно в связи с новыми подходами к его личности в контексте спорных гипотез о его авторстве *Слова о полку Игореве*.²¹ Особое внимание уделяется личным отношениям уче-

20 См. J. Jirásek, *Češi, Slováci a Rusko: studie vzájemných vztahů československo-ruských od r. 1867 do počátku světové války* (Praha, 1933).

21 См. E. L. Keenan, *Josef Dobrovský and the Origins of the Igor ' Tale* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004), 541 p. I. Pospíšil, „Existence, struktura, rozpětí a transcendence staroruské literatury (Poznámky k některým metodologickým problémům)“, *Slavica Litteraria* X 1 (1998), pp. 27–37. Тот же, „Slovo o pluku Igorově v kontextu současných významů: Keenanova hypotéza a její souvislosti (K pokusu o „nové řešení“ dávného problému původu *Slova o pluku Igorově*)“, *Slavica Slovaca* 42 (2007), pp. 37–48.

ных, политических и культурных деятелей, а также геополитическому контексту австрийско-чешско-русских отношений. Центром его изложений, именно с середины XIX века, является русский и славянский аспект политики чешской официальной репрезентации. Идейной доминантой исследования выступает идея чешской самостоятельности, независимости по отношению к России, критическое, несентиментальное отношение, которое противопоставлено романтическому пафосу раннего этапа чешского национального возрождения. В этом смысле Йосеф Йирасек продолжает особым образом идейную линию чешского реализма типа Т.Г. Масарика, идущую по следам К. Гавличека Боровского. Он, однако, видит и противоречия или же стремления чешских деятелей связать воедино романтический пафос о славянском величии, утопическом единстве во главе с Российской Империей и критический, трезвый подход. Таким образом, например, он описывает взгляды Й. Добровского:

«Взгляды Добровского на Россию с политической, культурной, религиозной и др. точек зрения очень трудно – в силу их фрагментарности, отрывистости – реконструируются, если мы не хотим пополнять их собственными догадками. Его замечания, однако, остры, они характеризуются блестящей наблюдательностью: из них, например, вытекает, что он не увлекся православными церемониями и был в этом отношении намного трезвее, чем сам Гавличек. Как он смотрел на царский абсолютизм, трудно сказать; наверное, однако, он был против политического панрусизма; поэтому он был и против русификации Польши. Он восхвалял поляков за их горячий патриотизм и если он желал, чтобы у них было больше настойчивости и рассудительности, в той же мере он был и против их обрусения. То же самое он думал и о нас. «Можно даже думать о русском языке, если бы мы стали русскими подданными», – писал он Бандтке, – «и нам приходилось бы читать указы по-русски и по-чешски, но пока мы хотим еще писать по-чешски, пока мы будем способны писать и читать по-чешски». И это писал человек, который восторгался величием России, который в моменты своего волнения (таким образом Йосеф Йирасек элегантно называет известные припадки маниакально-депрессивного психоза у Й. Добровского – *замечание мое* – И.П.) верил, что будет процветать Королевство Чешское и

Польское, а Царство Русское распространится вплоть до границ Персии и Индии, т. е. что славянское племя на обратном своем пути достигнет земель, на которых раньше обитало».²²

С этим связаны и интерпретации Йирасека, касающиеся русского как единственного славянского литературного языка и возможностей использовать в русском языке латинский шрифт, которые затронули существенную часть чешской общественности в XIX веке и характеризовались большим подъемом эмоций.

Более выраженный геополитический аспект содержат изложения Йирасека, относящиеся к середине 19 века. Речь идет о годовом 1848 году и польских восстаниях 1831 и 1863 гг., которые разделили чешское общество на два лагеря – полонофильский и русофильский.

В своем *opus magnum* *Россия и мы* Йирасек стал предшественником современных тенденций изучения языка и литературы на более широком культурно-политическом фоне – однако он не подчинил филологию истории или же историографии как «королеве наук», как иногда говорят сами историки. Он сумел отделить проблемы чисто филологические от политических и общеисторических, или, с другой стороны, увидеть их как совокупность явлений, в которой каждое явление освещает внутренним, глубинным образом другое. Реалистические исследования и рациональное изложение проблем свидетельствуют о том, что наша современная славистика имеет в Й. Йирасеке своего предшественника и вдохновителя в плане комплексной, тотальной славистики, исходящей из филологии, т. е. изучения языка и литературы, но трансцендирующей в сторону историографии, политологии, социологии, психологии, изучения менталитета, религии и т. д. Известно, что русские иногда недооценивают или, скорее, будем надеяться, недооценивали славистические и русистские исследования нерусских славистов и русистов, ограничивая их значение лишь областью их собственного языка и культуры и сферой взаимных русско-иностранных отношений или предполагая, что эти исследования имеют значение лишь для других наций.

22 Jirásek, *Rusko a my* (1946, I.), pp. 54–55.

В случае Й. Йирасека мы стоим перед исследованиями, значение которых всеобщее, универсальное, так как компаративистские работы, как известно, позволяют осветить до сих пор малоизученные стороны объекта исследования, т. е., в конкретном случае, и саму русскую литературу, русский язык, их общекультурное значение и их европейскую миссию.

IV. Центральная Европа и Россия в персоналистском освещении

Символом сложной судьбы средневропейского русиста является Франтишек Каутман (родился в 1927 г.), журналист, редактор издательства, литературовед и литературный критик, издатель, поэт, переводчик и прозаик, деятель культуры, который подписал известный документ чехословацких диссентов Хартия 77, член Dostoyevsky Society, член Общества Ф. Кс. Шальды, основатель и секретарь Клуба освобожденного самиздата. Доминирующей чертой его художественных и философских размышлений являются экзистенциальные проблемы человека под давлением истории, одиночество и тревога.²³

Ф. Каутману всегда свойственна оригинальность, чувствительность и скепсис: он обнаруживает неожиданные аспекты творчества С.К. Нейманна, своеобразно анализирует Ф. Достоевского, Ф. Кафку и Э. Гостовского, Т. Масарика, Ф. Шальду, Я. Паточку, демонстрируя чехам импульсы литературной критики русских революционных демократов и применяемую в литературоведении герменевтику (в статье *Герменевтика и интерпретация*, 1969 г., опубликована в 1996 г.).

В творчестве Ф. Каутмана бросается в глаза еврейская тема, трактуемая в качестве подспудного течения средневропейской судьбы: автор – иногда парадоксально – излагает на примерах еврейских авторов особую, обобщенную эмблему экзистенциального

23 *Каутман Ф.* Моя жизнь с Достоевским (1957–1997) // Достоевский и мировая культура. Альманах 24. Памяти В.А. Туниманова «Серебряный век». Санкт-Петербург, 2008.

отчуждения XX века (Кафка, Гостовский) как странное воплощение идей-предостережений Ф.М. Достоевского. Хотя художественное творчество Ф. Каутмана не содержит выразительных еврейских мотивов, доминантные темы греха и искушения, испытаний совести, межпоколенческих барьеров, кризисов коммуникации, одиночества и эротических судорог напоминают о творчестве Кафки и Гостовского и их отчужденных идеалах. С этой точки зрения еврейская тема и еврейские мотивы, отсылки и аллюзии красной нитью проходят в полускрытом виде подспудным течением через все каутмановское мышление, становясь частью более общих тематических комплексов, т. е. человеческой тревоги, страха, любви и смерти.²⁴

24 См. мою словарную статью о Ф. Каутмане: „Kautman, František (* 1927 в городе Ческе Будейовице),“ в: Alexej Mikulášek, Jana Šváblová, Antonín B. Schulz, *Literatura s hvězdou Davidovou 2. Slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století*. (Praha, 2002), pp. 42–48. См. также мою статью: „Одна средневропейская судьба (Франтишек Каутман как литературовед и беллетрист),“ in: *Comparative Cultural Studies in Central Europe*. Editors: Ivo Pospíšil, Michael Moser (Brno, 2004), pp. 175–191. См. и другие мои рецензии и статьи об этом авторе: „Metody, přístupy a typy literární vědy. (František Kautman: K typologii literární kritiky a literární vědy. Praha 1996, 189 p.),“ *SPFFBU XLVI, D 44* (1997), pp. 161–164; „Literatura a citlivost (F. Kautman),“ *Univerzitní noviny* (2001. 12), pp. 51–54; „Detail jako emblém doby (František Kautman: O literatuře a jejich tvůrcích. Studie, úvahy a stati z let 1977–1989. Praha: TORST, 1999, 294 p.),“ *Slovak Review, A Review of World Literature Research XI:2* (2002), pp. 174–178 и др. Из его творчества обычно приводятся: *Boje o Dostojevského* (Praha, 1966); St. K. Neumann, *Člověk a dílo 1875–1917* (Praha, 1966); *Opilý satelit* (Olomouc, 1966); *Literatura a filosofie* (Praha, 1968); *F. X. Šalda a F. M. Dostojevskij* (Praha, 1968); *Nádhera rovnováhy* (Praha, 1969); *Masaryk, Šalda, Patočka* (Praha, 1990); *Svět Franze Kafky* (Praha, 1990) (с названием Franz Kafka, 1992); *Mrtvé rameno* (Praha, 1992); *Dostojevskij – věčný problém člověka* (Praha, 1992); *Naděje a úskalí českého nacionalismu (politický profil V. Dyka)* (Praha, 1992); *Prolog k románu* (Praha, 1993); *Polarita našeho věku v díle Egona Hostovského* (Praha, 1993). *K typologii literární kritiky a literární vědy* (Praha, 1996); *Jak jsme s Jackem hledali svobodu* (Praha, 1996); *Román pro tebe* (Praha, 1997). *O literatuře a jejich tvůrcích. Studie, úvahy a stati z let 1977–1989* (Praha, 1999); *O smyslu oběti. Biblické reflexe* (Praha, 2003).

Ф. Каутман – среднеевропеец по месту и времени рождения (это явление в качестве категории менталитета и культуры после 1938–1948 гг. почти исчезло) и, одновременно, по выбору (германо-славяно-еврейский мир). Неотъемлемой частью среднеевропеизма Каутмана является и его интеграция восточнославянских (в особенности русских) элементов. Они засвидетельствованы скорее в качестве эмблематических, орнаментальных деталей. Два-три слова вносят в преимущественно чешский, немецкий или еврейский материал блеск аллюзий восточного экзотизма.

Именно в нем еще усиливается среднеевропеизм как особый центростремительный феномен, способный, с одной стороны, притягивать, синтезировать, а с другой, последовательно сохранять свой плюрализм и толерантность в среде ужасных религиозных войн прошлого, предшественников двух мировых конфликтов, которые родились именно здесь, несмотря на идейные и экзистенциальные травмы этого геополитического пространства.

Каутман-художник скорее прозаик, хотя он писал и пишет и поэзию: сборник стихов *Opilý satelit* [Пьяный спутник, 1966], посредством самиздата шесть сборников стихов 1965–1981 гг., стихотворный сборник *Melodie na jedné struně* [Мелодия на одной струне, 1981]. То, что в скрытой форме бытует в его литературоведческих работах, более или менее откровенно пронизывает его художественные произведения – испытание совести, межпоколенческие барьеры, болезни межличностного общения, одиночество и эротические судороги, уничтожение идеалов. В наиболее сжатом виде они обнаруживаются именно в его сборнике повестей *Nádhra rovnováhy* [Прелесть равновесия, 1969]. Наиболее сильно это выразилось в повести *Já a moje dcera* [Я и моя дочь, 1963], которая выражает в концентрированном виде жажду очищения и межпоколенческого взаимопонимания. И герои его романа *Jak jsme s Jackem hledali svobodu* [Как мы с Джеком искали свободу, 1981, 1995] ищут очищения, но, прежде всего, в единении с природой.

Исповедальной формой характеризуется роман *Mrtvé rameno* [Мертвое плечо, 1977, 1992]. Это первоплановая, горькая исповедь убежденного марксиста, блестящая анатомия и физиология человека эпохи чехословацкого коммунизма вплоть до начала 70-х годов

с тонкими отголосками конкретной политической ситуации. Ф. Каутман – мастер глубинного восприятия меняющейся общественной атмосферы, сдвигов значений, конфликтов и контрастов идей и быта, идеологии и темной, болезненной эротики. Герой, напоминающий некоторыми своими чертами и историей жизни антигероя *Записок из подполья* Ф. Достоевского, чувствует вину по отношению к бывшей любовнице Маркетке, которую из-за него исключили из вуза; позже он возвращается к жизни и мышлению своего отца, поклонника Т. Масарика, с которым он в юности как молодой радикал остро полемизировал. Наиболее тонко, однако, Каутман описывает изменения в быту героя к концу 50-х годов XX века.²⁵ Роман является базисом для других, более метатекстовых конструкций с более сложной структурой повествования.

Особую позицию, именно в смысле повествовательных форм, занимает сборник повестей *Alternativy* [Альтернативы] с подзаголовком *Прозы 1966–1969 гг.* Они были подготовлены к печати, но не успели выйти – нормализация как раз начиналась. С 1978 г. они распространялись посредством самиздата – до сих пор они официально не изданы. Повести представляют собой, на мой взгляд, вершину творчества Каутмана вообще; их можно считать вершиной чешской прозы 60-х годов XX века в смысле трактуемых проблем и художественного уровня. Повести *Альтернативы* свидетельствуют о серьезных авторских размышлениях о религии и вере. Своеобразной формой отличается повесть *Mariáš* [Марьяж], в которой в рамках структуры и хода карточной игры излагается жизнь человека.

Теоретиками романа особо ценятся *Пролог к роману* (1979, 1992) с элементами метатекста и отголосков русской классики XIX века (Н.Г. Чернышевский) и *Román pro tebe* [Роман для тебя, 1997]. Последнее произведение закончено – по свидетельству автора – в 1970 г., уже в период чехословацкой так называемой нормализации или консолидации, когда Ф. Каутману было запрещено официально публиковать свои произведения. С моей точки зрения, именно оно является ключевым, стержневым, сосредоточивающим в себе сущность авторской художественной исповеди и его видение мира.

25 F. Kautman, *Mrtvé rameno* (Praha, 1992), pp. 113–116.

Основой произведения является метатекст и квазиметатекст: это звучит очень по-среднеевропейски, но и одновременно по-русски; ведь и такая классика как *Евгений Онегин* носит зачастую метатекстовой характер. С метатекстом связана и дигрессивность романа, т. е. наличие текстовых (иногда лирических) отступлений; метароманность является самым стержнем произведения.

Сохранение свободы является лейтмотивом романа Каутмана. Автор, исходящий из своих идеологических поисков и заблуждений, разочарованный в иллюзиях, постепенно становится врагом всякой идеологии. Он излагает свою концепцию персонажей, обозначаемых большими буквами алфавита: его герой называется А. (К. Франца Кафки).

Третьим свойством романа является его конфессиональный, исповедальный характер, т. е. то, что типично для средневропейской философичности и контемплативности и, одновременно, для формы русской «идеологической беседы», ядра русского характерологического романа XIX и XX веков. С этим связано и представление о естественном характере человека и общества, которое эти свойства подавляет.

Противоречия современного человеческого бытия и быта, а также угрозы ужасных катаклизмов приводят к желанию возвращения к истокам или образования совсем другого мира, с другими ценностями – но это, чаще всего, невозможно. Смысл упомянутых противоречий состоит именно в смирении, в сближении обеих крайних точек и в осознании необходимости катарсиса. Ключом к прозрению является в романе сцена столкновения политически враждебных групп студентов накануне рокового конца февраля 1948 года на улицах Праги.²⁶

Проза Ф. Каутмана основана одновременно на тайне и перманентной утрате уверенности; поливариантность подчеркивается самим автором, который осознанно считает свою романную технику так называемым киноавтоматом, чешским изобретением, впервые, как известно, продемонстрированным на Всемирной выставке в канадском Монреале в 1967 г.

26 Kautman, *Mrtvé rameno*, p. 95.

Самым устойчивым слоем каутмановского романа является, пожалуй, его полускрытая русская аллюзивность, редкое явление в новой чешской литературе, за исключением, может быть, традиции стерновской дигрессии, кафкианского абсурда и отчуждения или – иногда иронизируемой – чапековской стилизации в его ранних, «чеховских» или позже в детективных рассказах, а также романной трилогии 30-х годов XX века. Это проявляется на нескольких уровнях артефакта: лексическом, например, «oživěně», по-русски «оживленно»⁴, нейтрально по-чешски скорее «živě». В другом месте можно найти «sledy písmen» вместо «story písmen» [следы букв], «medvědí úsluha» вместо «medvědí služba» [медвежья услуга]. На уровне метароманности находятся разного рода намеки (*Доктор Живаго*, Достоевский). Наиболее глубоки русские аллюзии на уровне поэтики: в роли трагического предвосхищения (сон о сыне, исчезнувшем в грязи, антиципационные элементы, именно в связи с поэтикой Достоевского – исповедальность, жанр идеологической беседы, детектив; эпилог); очень русскими кажутся также размышления о сожжении рукописей (Гоголь, булгаковское «Рукописи не горят»), ирония и самоирония.

Творчество Ф. Каутмана, чешского поэта, прозаика, теоретика литературы и видного русиста является в чешской среде начала 21 века, к сожалению, исключением; однако оно вдохновляет, показывая новые пути, подчеркивая связи русского и, в общем плане, восточнославянского элемента и его незаменимую роль в Центральной Европе.